

## Собака

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воеет страшная, неистовая буря.

Собака сидит передо мною — и смотрит мне прямо в глаза.

И я тоже гляжу ей в глаза.

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает — но я ее понимаю.

Я понимаю, что в это мгновение и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тождественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек.

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом...

И конец!

Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек?

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами...

Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга.

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке — одна и та же жизнь жметя пугливо к другой.

## Воробей

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса — и удалился, благоговей.

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным ее порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

*Февраль, 1878*

### **Милостыня**

Вблизи большого города, по широкой проезжей дороге шел старый, больной человек.

Он шатался на ходу; его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжело и слабо, словно чужие; одежда на нем висела лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь... Он изнемогал.

Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками — и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую, седую пыль.

Он вспоминал...

Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат — и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим, друзьям и недругам... И вот теперь у него нет куска хлеба — и все его покинули, друзья еще раньше врагов... Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце и стыдно.

А слезы все капали да капали, пестря седую пыль.

Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени; он поднял усталую голову и увидел перед собою незнакомца.

Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые; взор пронзительный, но не злой.

— Ты все свое богатство роздал, — слышался ровный голос... — Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал?

— Не жалею, — отвечал со вздохом старик, — только вот умираю я теперь.

— И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку, — продолжал незнакомец, — не над кем было бы тебе показать свою добродетель, не мог бы ты упражняться в ней?

Старик ничего не отвечал — и задумался.

— Так и ты теперь не гордись, бедняк, — заговорил опять незнакомец, — ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры.

Старик встрепенулся, вскинул глазами... но незнакомец уже исчез; а вдали на дороге показался прохожий.

Старик подошел к нему — и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего.

Но за ним шел другой — и тот подал старику малую милостыню.

И старик купил себе на данные гроши хлеба — и сладок показался ему выпрошенный кусок — и не было стыда у него на сердце, а напротив: его осенила тихая радость.

*Май, 1878*

## Щи

У бабы-вдовы умер ее единственный, двадцатилетний сын, первый на селе работник.

Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон.

Она застала ее дома.

Стоя посреди избы, перед столом, она, не спеша, ровным движеньем правой руки (левая висела плетью) черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой.

Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли... но она держалась истово и прямо, как в церкви.

«Господи! — подумала барыня. — Она может есть в такую минуту...  
Какие, однако, у них у всех грубые чувства!»

И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе!

А баба продолжала хлебать щи.

Барыня не вытерпела наконец.

— Татьяна! — промолвила она. — Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи!

— Вася мой помер, — тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. — Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посоленные.

Барыня только плечами пожала — и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево.

*Май, 187*

## Враг и друг

Осужденный на вечное заточенье узник вырвался из тюрьмы и стремглав пустился бежать... За ним по пятам мчалась погоня.

Он бежал изо всех сил... Преследователи начинали отставать.

Но вот перед ним река с крутыми берегами, узкая — но глубокая река...

А он не умеет плавать!

С одного берега на другой перекинута тонкая, гнилая доска. Беглец уже занес на нее ногу... Но случилось так, что тут же возле реки стояли: лучший его друг и самый жестокий его враг.

Враг ничего не сказал и только скрестил руки; зато друг закричал во все горло:

— Помилуй! Что ты делаешь? Опомнись, безумец! Разве ты не видишь, что доска совсем сгнила? Она сломится под твоею тяжестью — и ты неизбежно погибнешь!

— Но ведь другой переправы нет... а погоню слышишь? — отчаянно простонал несчастный и ступил на доску.

— Не допущу!.. Нет, не допущу, чтобы ты погибнул! — возопил ревностный друг и выхватил из-под ног беглеца доску. Тот мгновенно бухнул в бурные волны — и утонул.

Враг засмеялся самодовольно — и пошел прочь; а друг присел на бережку — и начал горько плакать о своем бедном... бедном друге! Обвинять самого себя в его гибели он, однако, не подумал... ни на миг.

— Не послушался меня! Не послушался! — шептал он уныло.

— А впрочем! — промолвил он наконец. — Ведь он всю жизнь свою должен был томиться в ужасной тюрьме! По крайней мере он теперь не страдает! Теперь ему легче! Знать, уж такая ему выпала доля!

— А все-таки жалко, по человечеству!

И добрая душа продолжала неутешно рыдать о своем злополучном друге.

*Декабрь, 1878*



## ГОЛУБИ

Я стоял на вершине пологого холма; передо мною — то золотым, то посеребренным морем — раскинулась и пестрела спелая рожь. Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая. Около меня солнце еще светило — горячо и тускло; но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона. Всё притаилось... всё изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слышать, не видеть ни одной птицы; попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий крупный лист лопуха. Как сильно пахнет полынь на межах! Я

глядел на синюю громаду... и смутно было на душе. Ну скорей же, скорей! — думалось мне, — сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томленье! Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю... и только словно пухла да темнела. И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь. Летел, летел — всё прямо, прямо... и потонул за лесом. Прошло несколько мгновений — та же стояла жестокая тишь... Но глядь! Уже *два* платка мелькают, *два* комочка несутся назад: то летят домой ровным полетом *два* белых голубя. И вот, наконец, сорвалась буря — и пошла потеха! Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, низкие, словно в клочья разорванные облака, всё закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвесными столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой зеленью, стреляет как из пушки отрывистый гром, запахло серой... Но под навесом крыши, на самом краёшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя — и тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас. Наохлились оба — и чувствует каждый своим крылом крыло соседа... Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них...  
Хоть я и один... один, как всегда.

## ПОРОГ

Я вижу громадное здание. В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка. Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с ледящей струей выносится из глубины здания медлительный, глухой голос. — О ты, что желаешь переступить этот порог, — знаешь ли ты, что тебя ожидает? — Знаю, — отвечает девушка. — Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть? — Знаю. — Отчуждение полное, одиночество? — Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары. — Не только от врагов — но и от родных, от друзей? — Да... и от них. — Хорошо. Ты готова на жертву? — Да. — На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить! — Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени. — Готова ли ты на преступление? Девушка потупила голову... — И на преступление готова. Голос не тотчас возобновил свои вопросы. — Знаешь ли ты, — заговорил он наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь? — Знаю и это. И все-таки я хочу войти. — Войди! Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею. — Дура! — проскрежетал кто-то сзади. — Святая! — принеслось откуда-то в ответ. Май, 1878

## МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!

Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека! Полный раздумья, шел я однажды по большой дороге. Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь; унылость овладевала мною. Я поднял голову... Передо мною, между двух рядов высоких тополей, стрелою уходила вдаль дорога. И через нее, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев, прыгала бойко, забавно, самонадеянно! Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко чирикавая, словно и чёрт ему не брат! Завоеватель — и полно! А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя. Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся — и грустные думы тотчас отлетели прочь: отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я. И пускай надо мной кружит *мой* ястреб... — Мы еще повоюем, чёрт возьми! Ноябрь, 1879

### ПАМЯТИ Ю. П. ВРЕВСКОЙ\*

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черенке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастья... не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее труп — хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком,

который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!

Сентябрь, 1878